ВАЛИК № 7



Денис Гутянский

Валик «Номер 7»

«Автор»
2026

Гутянский Д. С.

Валик «Номер 7» / Д. С. Гутянский — «Автор», 2026

Старое дерево не умеет лгать - оно лишь ждёт рук, способных его услышать.В мастерскую петербургского реставратора Александра Верещагина привозят редкий дрезденский секретер XIX века. Заказчик - умирающий миллионер Марк Блюм, чьи люди требуют не задавать лишних вопросов. Но в потайном пазу бюро мастер находит латунный валик «7» и встроенный под чернильницей уникальный акустический механизм.Созданный в блокадном Ленинграде часовщиком Аркадием Гринбергом, резонатор передаёт звук через дерево прямо в память человека. Стоит прижать ладони к крышке - и оживают ледяной февраль 1942-го, ночной страх чисток 1949-го и трагический март 1968-го. Изобретение, призванное сберечь голоса любимых, оказалось во власти полковника МГБ, намертво связав две семьи узлом шантажа и немой жертвенности.Вместе с дочерью Аней реставратору предстоит пройти по следам уцелевших записей через старый Петербург и музейные архивы, чтобы вернуть живым и ушедшим их подлинные имена.

© Гутянский Д. С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 23
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Денис Гутянский
Валик «Номер 7»

Глава 1

Глава 1. Секретер

В мастерской пахло льняной олифой, мокрым гранитом и кошкой. Кошка была не виновата, но пахла тоже — холодной чердачной жестью, прелым тополевым листом и чем-то неуловимо домашним, вроде тёплой ржаной корки.

Александр Павлович Верещагин снял отсыревший на утреннем ветру плащ, повесил его на кованый четырёхгранный гвоздь у входной двери — на этот гвоздь ещё его дед, вернувшись со службы на Варшавской железной дороге, вешал тяжёлую суконную шинель, а дед, если верить семейному преданию, был человеком системы и характера, — и щёлкнул карболитовым выключателем над верстаком. Длинная лампа под зелёным эмалированным козырьком зажглась не сразу: капризно помигала с сухим старческим треском, словно припоминая, какой нынче год на дворе и стоит ли вообще светить в такую хмарь, и наконец залила дубовую столешницу густым янтарным светом.

Флюшка, крупная полосатая кошка неизвестной, но явно независимой породы, сидела на широком подоконнике у приоткрытой форточки и наблюдала за октябрьским ливнем с выражением старого петербургского философа, который давно всё понял про этот город, но из врождённой деликатности держит выводы при себе.

— Доброе утро, — сказал ей Александр Павлович, подходя к чугунной раковине в углу и поворачивая латунный барашек крана. Вода пошла сначала рыжая, с сердитым кашлем старых труб, потом ледяная и чистая. — Или что там у нас сегодня по небесной канцелярии.

Кошка лишь повела надтреснутым правым ухом. Она принадлежала к тем созданиям, которые искренне полагают, что человеческая речь изобретена от нехватки усов и неумения вовремя промолчать.

Верещагин поставил на одноконфорочную плитку закопчённый эмалированный чайник, насыпал в жестяную баночку водяной бани гранулы столярного мездрового клея — пусть набухают, пока закипит вода, — и повернулся к середине комнаты.

На низких дубовых козлах, подстеленных куском старого войлока, стоял предмет, ради которого он и спустился сегодня в мастерскую в половине седьмого утра, хотя вполне мог ещё час пролежать под тёплым одеялом в своей квартире на третьем этаже того же дома, слушая, как дождь хлещет по оцинкованным водостокам Малого проспекта, и притворяться, что пятьдесят восемь ему только по паспорту.

После того как четыре года назад в октябре не стало Лены, утренние часы наверху давались ему тяжелее всего. В квартире вещи хранили человеческую пустоту — остывшую, неподвижную, в которой каждый скрип паркетной плашки напоминал о том, что отвечать некому. А здесь, в полуподвале с толстыми кирпичными сводами, среди запаха сандарака, пчелиного

воска и сухой берёзовой стружки, время имело плотность и сопротивление материала. Его можно было зажать в столярные тиски, выверить угольником и зачистить циклей до живого слоя.

Предмет на козлах был хорош. Более того — он был редок.

Кабинетный секретер красного дерева, строгая немецкая работа последней четверти девятнадцатого века. Если бы Александра Павловича спросили без подготовки, он бы назвал Дрезден, между восемьдесят пятым и девяностым годом: характерная сдержанная архитектура без венской кудрявости, точёные полуколонки с тусклыми латунными базами, карниз спокойного классического профиля. Бумажный ярлык мануфактуры на задней стенке был когда-то давно содран вместе со стружкой, так что оставалось полагаться на глаз и подушечки пальцев.

Верхний ярус венчало невысокое фацетированное зеркало в резной раме с потемневшей амальгамой, глубже которой плавали мутные подводные пятна. Под зеркалом располагалась откидная письменная доска, а ниже — тумба на три глубоких ящика с фигурными ключевинами. Старый шеллачный лак за полтора столетия помутнел, покрылся мелкой сеткой кракелюра, а на левой боковине вздулся белёсыми волдырями — верный знак того, что когда-то давно рядом с секретером топили чугунную буржуйку, а потом оставляли его в вымерзшей насквозь комнате. Но под израненной плёнкой старой политуры массив гондурасского махагони оставался плотным и звонким. Дерево не умерло. Оно дышало.

Верещагин подошёл вплотную и медленно провёл раскрытой ладонью по правой филёнке — так старый земский терапевт кладёт руку на грудь больного прежде, чем достать стетоскоп.

— Ну что, голубчик, — негромко сказал он. — Давай знакомиться. Откуда ты такой ко мне приехал?

За тридцать с лишним лет реставрационной работы Александр Павлович научился безошибочно различать два рода тишины. Бывает тишина пустого шкафа — просто высушенная древесина, столярный клей и окислившаяся медь. А бывает тишина затаённая, густая, наэлектризованная, когда старая вещь знает о своих прежних владельцах куда больше, чем положено неодушевлённому предмету.

Впрочем, мистиком Верещагин никогда не был. Он не верил ни в привидения, ни в проклятые родовые гарнитуры, о которых так любят сочинять байки салонные перекупщики с Невского. Он верил в плотность годовых колец, в химию спиртовых смол, в честную геометрию шиповых соединений «ласточкин хвост» и в то, что работа хорошего мастера сохраняет тепло его рук даже через сто лет. Всё остальное он относил на счёт петербургского климата и расшатанных нервов.

Секретер привезли вчера в сумерках. Двух плечистых грузчиков в одинаковых тёмных комбинезонах сопровождал лично Игорь Вельяминов — управляющий антикварного дома «Северный Ковчег», холёный мужчина лет сорока пяти в длинном кашемировом пальто цвета мокрого сланца. У Вельяминова было гладкое, породистое лицо человека, который прекрасно знает себе цену, и безукоризненные манеры человека, обученного эту цену без крайней нужды вслух не называть. Пальто он в мастерской снимать не стал — только скользнул сомневающимся взглядом по дедовскому гвоздю у косяка и остался стоять у двери, опираясь обеими руками в тонких кожаных перчатках на трость сложенного зонта.

— Особый заказ, Александр Павлович, — произнёс он тогда, аккуратно обходя носком английского ботинка пятно старой морилки на дощатом полу. — Наш владелец чрезвычайно дорожит этим предметом. В средствах вас не стесняем, но расчистка и переполировка должны быть сделаны в кратчайший срок.

— Владелец — это кто? — спросил Верещагин, заполняя квитанцию приёмки. Он привык знать, для чьих рук спасает дерево: не из праздного любопытства, а из элементарной профессиональной гигиены.

— Марк Соломонович Блюм, — ответил Вельяминов с той бархатной, чуть пониженной интонацией, с какой в Петербурге произносят имена людей, способных купить половину Литейного проспекта вместе с фонарными столбами. — Вы наверняка слышали о его собрании. Он ищет редкие предметы старого петербургского и ленинградского быта. Точнее сказать, Марк Соломонович коллекционирует память.

— В секретерах? — Верещагин поднял глаза от бланка.

— В вещах, Александр Павлович. Люди склонны умирать, забывать и переписывать прошлое набело. А красное дерево не лжёт.

Вчера Верещагин пропустил эту красивую фразу мимо ушей. Антиквары — народ театральный: червоточину от жука-точильщика они именуют «благородной печатью века», а прожжённое папиросой сукно — «драматическим провенансом». Но сейчас, в пустой утренней мастерской, под однообразный шум дождя за окном, слова управляющего почему-то всплыли в памяти с неприятной отчётливостью.

Александр Павлович водрузил на переносицу рабочие очки в роговой оправе — на улице он предпочитал щуриться, полагая, что очки делают его похожим на отставного учителя географии, хотя дочь Аня уверяла, что старит его как раз привычка морщить переносицу, — и принялся за первичный осмотр.

Сначала — простукивание. Согнутым средним пальцем правой руки, твёрдой сухой костяшкой, неспешно и размеренно по каждой филёнке, по боковым устоям, по фризу и нижнему цоколю. Выдержанный массив отзывался чистым, суховатым деревянным тоном. Слишком ровным. Верещагин нахмурился и прошёл пальцами по левой боковине ещё раз, приложив ухо почти вплотную к лаку.

Так не бывало. Немецкие кабинетные секретеры восьмидесятых годов девятнадцатого века почти без исключений строились с «секретом» — пружинным пеналом для долговых расписок за центральной нишей, пустотелой пилястрой на деревянной защёлке или двойным поликом под чернильным прибором. Здесь же звук шёл глухой, плотный, будто внутри не оставалось ни единой воздушной полости.

Он взялся за латунные ручки-кольца и откинул письменную доску на скользящих кулисах.

Внутри открылась строгая, знакомая по десяткам каталогов картина: центральная ниша с резной стрельчатой аркой, узкие вертикальные соты для писем и бумаг, три малых выдвижных

ящичка с точёными костяными пуговками и круглое гнездо для чернильницы справа, окантованное потускневшим медным ободком. Зелёное сукно на доске вытерлось до белёсой основы как раз там, где десятилетиями лежало правое предплечье пишущего человека, а вокруг чернильницы въелись в дерево старые фиолетовые и рыжие брызги.

Верещагин потянул на себя верхний большой ящик тумбы.

Ящик пошёл по внутренним дубовым направляющим совершенно бесшумно, мягко, словно по маслу. Старый реставратор остановил руку на полпути и насторожился. Мебель, простоявшую без музейного климат-контроля сто двадцать лет, неизбежно ведёт от зимнего парового отопления и осенней сырости — ящики либо клинят в перекошенных гнездах, либо идут с сухим скрипом дерева по дереву. Этот же скользил так, будто его полозья совсем недавно притирали парафином или кто-то пользовался этим секретером не как памятником старины, а как живым рабочим инструментом.

Он вынул все три ящика один за другим, сложил их на чистую рогожу у стены, исследовал с переносной лампой внутреннюю клеть корпуса. Чисто. Ни свежих стамесочных задиров, ни скрытых пружинных язычков.

— Хитришь, брат, — вслух проговорил Верещагин. В пустой мастерской разговор с упрямым комодом или креслом давно не считался признаком чудачества. — Не верю я, чтобы дрезденский столяр выпустил тебя из цеха без единого потайного кармана. Где же ты его держишь?

Он опустился на корточки перед правой боковиной — колени отозвались привычным сухим хрустом — и медленно провёл подушечками пальцев вдоль нижнего фигурного обклада у самого пола.

Древесина под ладонью показалась странно тёплой. Не комнатной температуры — внизу у каменного пола всегда тянуло подвальным холодом, — а живой, словно внутри массива тлел невидимый уголёк. Александр Павлович одёрнул руку, усмехнулся собственной мнительности, но взял с верстака четырёхкратную часовую лупу и заглянул под свес резного углового завитка.

Там, в глубокой тени калёвки, куда не добралась бы ни одна половая тряпка при самой ревностной уборке, темнела риска. Она шла строго поперёк древесных волокон — тонкая, как след от опасной бритвы, и геометрически прямая. Случайные царапины от каблуков или при переезде всегда рвут волокно вкривь и вкось. Так режут дерево только тогда, когда точно знают, что делают.

Верещагин взял плоский костяной шпатель. Под лупой риска оказалась волосяным стыком: в массив цокольного бруса была заподлицо впущена узкая планка из того же куска махагони, идеально подобранная по рисунку слоёв и затонированная старым лаком. Александр Павлович нащупал на нижнем ребре еле заметную выемку, ввёл туда остриё шпателя и плавно нажал вниз, преодолевая упругое сопротивление стальной рессоры.

Внутри сухо, коротко цокнул замочек. Наружная планка подалась на себя миллиметра на четыре, открывая узкий горизонтальный паз, выбранный долотом прямо в толще нижней обвязки.

На подоконнике Флюшка перестала следить за дождём, мягко спрыгнула на пол и подошла к козлам, уставившись круглыми жёлтыми глазами в открывшуюся щель.

— Сиди смирно, — не оборачиваясь, велел ей Верещагин. — Сейчас посмотрим, что тут за наследство.

Длинным хирургическим пинцетом он подцепил из глубины паза небольшой продолговатый свёрток и вытянул его на свет. Старая небелёная холстина пожелтела от времени, но, когда Александр Павлович поднёс её к лицу, пахнуло не мышиным тленом и не плесенью, а чистым костяным маслом — тем самым, каким старые часовщики смазывали палеты анкерного спуска и тонкие цапфы шестерён.

Он развернул холстину на ладони.

Внутри лежал точёный латунный цилиндр длиной с указательный палец и толщиной в охотничий патрон шестнадцатого калибра. По обоим краям валика шли узкие ведущие венцы с мелкими косыми зубцами, как у червячной передачи, а вся средняя, отполированная до зеркального блеска часть была покрыта густой, едва различимой невооружённым глазом спиральной нарезкой — втрое тоньше, чем дорожка на патефонной пластинке. На плоском правом торце твёрдой рукой гравёра с тонкими засечками было вырезано: «№ 7».

Металл на ладони был тёплым. Он определённо грел кожу.

Верещагин положил цилиндр на зелёное сукно верстака, вытер пальцы о фартук и посмотрел на кошку. Та сидела на задних лапах и, вытянув шею, нюхала воздух в полуметре от края стола, не решаясь подойти ближе.

— Это латунь, Флюшка, — громко и назидательно произнёс Александр Павлович. — Сплав меди и цинка. Обладает высокой теплопроводностью и мгновенно забирает тепло человеческих пальцев. Обыкновенная физика за седьмой класс.

Кошка медленно, с невыразимым пренебрежением моргнула.

Верещагин вздохнул, потянулся было к цилиндру, чтобы спрятать его обратно в паз до полной разборки корпуса, как вдруг воздух в мастерской странно, почти осязаемо сгустился — так бывает перед грозой или когда в соседней парадной глухо ухает тяжёлая дубовая дверь, сжимая сквозняк в коридоре. Монотонный шум дождя за окном на миг провалился в ватную немоту.

А в следующую секунду прямо из-под откидной доски секретера, из глубины его пустых деревянных ячеек, прозвучал голос.

Он шёл не по воздуху в ушные раковины, но и не мерещился в мыслях — казалось, сухой столетний массив дерева сам сработал как дека старой виолончели, отдав в тишину короткое, сберегаемое десятилетиями колебание. Голос был женский, тихий, надтреснутый от слабости, с тем неповторимым старопетербургским выговором, который Верещагин помнил ещё по своей бабке:

— Не открывай, пока не стемнеет.

Александр Павлович замер с протянутой над верстаком рукой.

Секунду он стоял не дыша, глядя на матовое зеркало секретера. Потом медленно выпрямился, снял очки и обвёл взглядом мастерскую. Всё было на своих местах: тиски у края столешницы, ряд полукруглых стамесок в кожаном гнезде на стене, мерное бульканье закипевшего чайника на плитке.

— Сто шестьдесят на сто, — хрипловато сказал он вслух и крепко потёр пальцами переносицу. — В прошлый вторник тонометр зашкаливал. Аня русским языком предупреждала: при спазме сосудов головного мозга бывают слуховые обманы. Допрыгался, старый дурак. Таблетки надо пить вовремя, а не бегать к верстаку ни свет ни заря.

И всё же оставлять неучтённый латунный валик с микронной звуковой нарезкой внутри чужого бюро он почему-то не захотел. Верещагин аккуратно завернул цилиндр «№ 7» обратно в промасленную холстину, опустил свёрток в глубокий нагрудный карман рабочего фартука, а потайную планку в цоколе задвинул до сухого щелчка рессоры.

Ровно в десять часов утра в уличную дверь постучали — три чётких, размеренных удара костяшками. Так стучат люди, не сомневающиеся в своём праве входить без ожидания.

Вельяминов стоял на мокром крыльце под тем же огромным чёрным зонтом. Переступив порог, он аккуратно стряхнул капли на резиновый коврик, прислонил зонт к косяку и улыбнулся — гладкой, безупречно вежливой улыбкой, которая не задевала его холодных серых глаз.

— Доброго утра, Александр Павлович. Проезжал неподалёку по Большому проспекту в банк, дай, думаю, загляну на минуту. Как наш дрезденский гость?

— Осваивается, — сдержанно ответил Верещагин, заслоняя собой край верстака. — Дышит понемногу.

— Дышит? — Вельяминов едва заметно приподнял бровь.

— Так у нас говорят, когда массив не пересушен до мёртвой трухи. Столярка крепкая, шипы держат. Но лак на левом боку поведён от старого перегрева, а бронзу нужно отмачивать и чистить вручную. Полтора месяца работы, как мы вчера и записали.

— Полтора месяца — срок немалый, — управляющий прошёл вглубь мастерской, скользнув быстрым, цепким взглядом по вынутым на рогожу ящикам, откинутой письменной доске и пустой клети корпуса. — Марк Соломонович человек преклонных лет и весьма слабого здоровья. Ему не терпится увидеть вещь в первозданном виде. Кстати... вы ведь уже простукали стенки? В старых немецких бюро конца девятнадцатого века то и дело обнаруживаются всякие потайные отделения. Забытые письма прежних владельцев, процентные бумаги, какие-нибудь нестандартные металлические части...

Он произнёс это легко, почти небрежно, словно к слову пришлось. Слишком легко. Так спрашивают, когда отчаянно надеются услышать «да» и одновременно боятся, что собеседник уже заглянул внутрь находки.

Верещагин спокойно посмотрел ему прямо в переносицу:

— Пока кроме вековой пыли, высохшего паука и старых чернильных пятен ничего не обнаружил.

— Вот как. Но я ведь только начал осмотр, скажете вы? — Вельяминов мягко улыбнулся, подходя на шаг ближе. От его кашемирового пальто тонко пахло дорогим табаком и одеколоном с горчинкой ветивера. — Что ж, тем спокойнее. Но у меня к вам убедительная просьба, Александр Павлович. Если в ходе разборки вам попадётся что-нибудь не предусмотренное мебельной конструкцией — бумаги, чертежи или мелкие точёные детали, — не прикасайтесь к ним голыми руками и немедленно наберите мой прямой номер. В любое время дня и ночи.

— Боитесь, что сломаю чужой секрет?

— Боюсь за ваше здоровье, — с проникновенной, почти отеческой теплотой ответил Вельяминов. — Старые ленинградские архивы и механизмы, пролежавшие десятилетиями в закрытых полостях, порой несут на себе крайне неприятные вещи. Споры токсичной чёрной плесени, окислы тяжёлых металлов... Для человека вашего возраста и комплекции это может оказаться весьма небезопасным. Мы ведь хотим, чтобы вы спокойно довели заказ до конца, не правда ли?

Когда за управляющим закрылась дверь и за окном прошуршали шины отъехавшего автомобиля, Александр Павлович долго стоял посреди мастерской, слушая, как капает вода с крана в чугунную раковину. Затем он достал из нагрудного кармана фартука свёрток и посмотрел на латунный торец с цифрой «№ 7».

Вельяминов приехал в десять утра вовсе не ради разговоров о шеллачной политуре. Он проверял, нашёл ли реставратор тайник. Причём управляющий и сам не знал точно, что именно спрятано внутри секретера — старые бумаги или точёная латунь.

— Кажется, Флюшка, — тихо сказал Александр Павлович, глядя на кошку, — мы с тобой влипли в очень скверную историю. И сегодня нам явно будет не до полировки.

К полудню ливень иссяк, сменившись той мелкой петербургской изморосью, которая не падает с неба, а неподвижно висит в сыром воздухе между брандмауэрами, оседая седым бисером на сукне пальто и бровях прохожих.

Прежде чем покинуть мастерскую, Верещагин отодвинул секретер на ладонь от стены и с инспекционным фонариком осмотрел его заднюю обшивку. В самом низу, на грубой некрашеной сосновой доске под слоем многолетней паутины и печной сажи, уцелел прямоугольник плотной желтоватой бумаги, намертво посаженный на столярный костный клей. Отдирать старые владельческие ярлыки считалось в ремесле последним варварством, поэтому Александр Павлович просто осторожно смахнул пыль сухой беличьей кистью и сфотографировал надпись на телефон.

Строчки, выведенные по линейке фиолетовым химическим карандашом, местами расплылись от давней сырости, но чёткий, с правильным гимназическим наклоном почерк читался без труда: «Собственность Левитиной А. М. Петроградская сторона, ул. Ленина, д. 14, кв. 9. Май 1946 г.».

Тот же самый адрес стоял и в транспортной накладной экспедиторов, которую вчера подписал Вельяминов. Стало быть, секретер привезли к Верещагину не из особняка коллекционера Блюма и не из запасников «Северного Ковчега» на Невском, а напрямую из старой квартиры на улице Ленина.

От Малого проспекта до четырнадцатого дома по улице Ленина (бывшей Широкой, как по старой памяти мысленно поправил себя Александр Павлович) было четверть часа неспешного хода. Он снял рабочий фартук, переложил свёрток с тёплым латунным валиком во внутренний карман пиджака под плащом, проверил, на месте ли визитные карточки, и вышел на улицу.

Шестиэтажный доходный дом начала прошлого века встретил его потемневшим гранитным цоколем, облупившимися до красного кирпича совами под эркерами и узкой подворотней, из которой тянуло сырой известкой и прелым кленовым листом. Шагнув через глубокую лужу, в которой, как в куске тёмного слюдяного стекла, отражался колодец питерского неба, Верещагин вошёл в правую парадную.

Здесь всё было знакомо до сердечной щемоты: стертые посередине лещадные плиты пологих маршей, кованые чугунные балясины с остатками десятка слоёв масляной краски, высокие окна на межэтажных площадках с выбитыми когда-то цветными витражными вставками и вечный, неистребимый запах старого ленинградского подъезда — смесь жареного лука, кошачьей валерьянки и мокрой шерсти.

На третьем этаже перед высокой двустворчатой дверью девятой квартиры, обитой потрескавшимся коричневым дерматином с мебельными гвоздиками, Александр Павлович остановился перевести дух. Костяная пуговка старинного электрического звонка была вдавлена намертво и не работала, а рядом криво висела лишь одна пластмассовая кнопка без фамилий. Он нажал её, подождал полминуты, а затем негромко постучал согнутым пальцем в верхнюю филёнку.

За дверью долго было тихо — только где-то в глубине квартиры бубнило на кухне проводное радио. Потом послышалось осторожное шарканье войлочных туфель, щёлкнул засов, и дверь приоткрылась ровно на длину стальной страховочной цепочки.

В узкой щели показалось маленькое, сухое старушечье лицо в сером пуховом платке, накинутом поверх домашней кофты, и настороженные, выцветшие глаза за толстыми бифокальными стёклами.

— Если вы опять от господина Вельяминова из «Ковчега», то я ничего больше подписывать не буду, — без предисловий, сухим надтреснутым голосом объявила старушка. — Секретер вчера забрали, деньги перевели на сберегательную книжку, расписку я дала при свидетелях. Никаких старых бумаг и ключей от него у меня нет и не было.

— Простите ради бога за беспокойство, — Верещагин чуть отступил к чугунным перилам, чтобы не нависать над дверью, и двумя пальцами протянул в щель карточку из плотного ватмана. — Меня зовут Александр Павлович Верещагин. Я не скупщик, я старый реставратор по дереву, моя мастерская тут по соседству, на Малом проспекте. Вчера вечером мне привезли ваш секретер в работу. На задней стенке сохранился бумажный ярлык мая сорок шестого года

с фамилией Левитиной Анны Михайловны. Я пришёл просто как мастер — спросить, не осталось ли в семье каких-то сведений о прежнем виде вещи или отвалившихся резных деталях, прежде чем я начну снимать старый лак.

Старушка взяла карточку, долго подносила её то ближе, то дальше от очков, затем поверх оправ внимательно оглядела самого гостя — его поношенный плащ, седую щетину, а главное, широкие ладони с въевшимся в поры тёмным бейцем и сбитыми ногтями мастерового человека. Что-то в её лице чуть отпустило.

— Надо же, — проворчала она. — Живой краснодеревщик. А то вчера заявился этот павлин в кашемировом пальто с двумя молодцами, даже калош не снял и всё шарил глазами по углам да по антресолям, будто я тут царскую казну прячу. Ладно уж, заходите, не стойте на лестничном сквозняке. Только ноги об половичок хорошенько вытрите. Меня зовут Вера Марковна Штерн.

Бывшая большая коммуналка на пять семей давно опустела и стала отдельной квартирой, но сохранила планировку и гулкое эхо ушедшей эпохи. В длинном полутёмном коридоре под четырёхметровым потолком с треснувшей лепной розеткой стоял у стены старый дорожный велосипед «Прогресс» со спущенными шинами и обмотанным синей изолентой седлом, а на кривоногой тумбочке у зеркала громоздились стопки старых номеров «Науки и жизни» и жестяная коробка из-под монпансье с катушками ниток. Из четырёх высоких дверей в комнаты три были наглухо закрыты, а из четвёртой и из конца коридора тянуло тёплым домашним духом печёного яблока, сушёной мяты и капель Зеленина.

На узкой кухне с высокой медной газовой колонкой и окном, упиравшимся прямо в мокрую кирпичную стену флигеля напротив, Вера Марковна зажгла конфорку под пузатым чайником и выставила на чистую клеёнку две старенькие фарфоровые чашки с полустёртым золотым ободком и вазочку с колотым рафинадом.

— Нет у меня никаких отвалившихся деталек от этого секретера, Александр Павлович, — сказала она, садясь напротив него на венский стул и пряча озябшие кисти рук в рукава кофты. — Да и не наш он был родом. Мы с мамой и младшим братишкой Юркой въехали в эту квартиру из эвакуации из-под Чистополя в начале апреля сорок шестого года, мне тогда одиннадцатый год шёл. В нашем прежнем доме на Разночинной фугасной бомбой снесло полкрыла, вот райжилотдел и дал нам ордер сюда, в комнату погибших соседей. А в большой угловой комнате с двумя окнами доживала свой век Анна Михайловна Левитина.

— Та самая, чей почерк на ярлыке?

— Она самая. Старая учительница русской словесности, ещё до революции в женской гимназии Таганцевой преподавала. Строгая была старуха, прямая как струна, даже когда от водянки и блокадного сердца уже с постели подняться не могла. Муж её, врач Павел Николаевич Левитин, помер в январе сорок второго года прямо у себя в амбулатории, старший сын под Синявином без вести пропал. А младшая дочка Лидочка с июня сорок первого служила операционной сестрой в военно-санитарном поезде. Поезд их после Победы в Германии перебросили на войну с Японией, и застряла Лида в госпиталях под Харбином до самого лета сорок шестого. Анна Михайловна в мае чуяла, что не дотянет до дочкиного возвращения, вот и попросила нашего соседа-столяра приклеить на спинку секретера тот ярлык да заверить у управдома — смертельно боялась, что пока дочка в дороге, фининспектор опишет немецкое

бюро как выморочное имущество. Двадцатого мая сорок шестого мы Анну Михайловну на Серафимовском кладбище схоронили, а Лидочка приехала с чемоданчиком в середине июня. На три недели разминулась с матерью.

Вера Марковна замолчала, глядя на синий венчик газового пламени под чайником.

— И секретер перешёл к дочери? — осторожно спросил Верещагин.

— Перешёл. Это ведь было приданое ещё её бабушки, привезённое из Саксонии. В этой угловой комнате Лида с мужем и прожили двадцать два года, до марта шестьдесят восьмого. Муж её, Аркадий Соломонович Гринберг, вернулся в квартиру на полгода раньше Лиды — они ведь расписались в мае сорок первого, совсем зелёные были, Лиде девятнадцать, ему двадцать шесть. Аркадия Соломоновича из-за сильной близорукости на передовую не взяли, но всю блокаду от первого до последнего дня он проработал здесь, в осаждённом Ленинграде, в какой-то сверхсекретной приборостроительной мастерской при Большом доме на Литейном. Механик и часовщик был такой, каких теперь и не делают. Говорили, что он слепому на ощупь мог собрать репетир с боем. Он ведь в феврале сорок второго Анну Михайловну от верной смерти и вытащил: ходил к ней пешком с Литейного через Троицкий мост в тридцатиградусный мороз, носил в кармане полушубка паёк шпика и колотые ящики на растопку.

Александр Павлович невольно коснулся пальцами борта плаща, под которым лежал латунный валик.

— Вера Марковна, — негромко спросил он, — а почему вы так настороженно встретили меня у дверей, когда зашла речь о людях из «Северного Ковчега»?

Старушка посмотрела на него долгим, понимающим взглядом сквозь толстые линзы очков:

— Потому что этот ваш гладкий господин Вельяминов позавчера тоже плёл мне сказки про дрезденскую резьбу и любовь своего хозяина Блюма к старинной мебели. А сам, пока грузчики отвязывали зеркало, дважды запускал пальцы под нижний край секретера и под чернильницу — искал защёлку. Только Аркадий Соломонович был куда умнее этих господ. Мне он тайник не открыл, а вам, видать, как настоящему мастеру, дерево само поддалось. Ведь нашли что-то, Александр Павлович? Не грешите перед старухой, по глазам вижу, что нашли.

Верещагин медленно расстегнул пуговицу плаща, достал из внутреннего кармана свёрток и развернул промасленную холстину на краешке кухонной клеёнки.

При виде маленького латунного цилиндра с косыми зубцами и вырезанной штихелем цифрой «№ 7» Вера Марковна побелела и мелко перекрестилась, хоть и носила фамилию Штерн.

— Господи праведный... — прошептала она, отодвигая от края стола чашку, словно кусок металла мог обжечь фарфор. — Значит, остался внутри. Пережил и Аркадия Соломоновича, и обыск шестьдесят восьмого года...

— Что это за устройство, Вера Марковна?

— Фонограф Гринберга. Или «памятник», как в шутку называла его Лида в первые годы после войны, пока им ещё бывало до шуток, — глухо заговорила старушка. — Аркадий Соломонович ещё до войны с какими-то старыми физиками из Политехнического института изучал акустику дерева и костную проводимость звука. Он объяснял моей маме, что обычная патефонная мембрана или магнитофонная лента записывают только мёртвое колебание воздуха, поэтому голос на пластинке всегда плоский и чужой. А внутри этого немецкого секретера была старинная дека из резонансной карпатской ели. Аркадий Соломонович вмонтировал туда под чернильницу какой-то хитрый часовой механизм со струнами и кристаллом кварца, а валики точил из своего особого сплава. Когда человек клал ладони прямо на деревянную доску бюро и пускал валик, вибрация шла через кожу и кости рук прямо в слуховой нерв.

Она замолчала, зябко кутая плечи в серый пуховый платок.

— В шестидесятом году, — продолжила она тише, — мой младший брат Юрка, тринадцатилетний дурачок, воспользовался тем, что Гринберги ушли в филармонию и забыли запереть комнату на ключ. Залез к ним, нашёл в ящике стола заводной ключ и один такой валик с номером, вставил в гнездо под чернильницей и положил руки на дерево, как подсмотрел однажды в щёлку за самим Аркадием Соломоновичем. Мы с мамой прибежали из кухни на страшный крик: Юрка валялся на паркете без памяти, руки ледяные как у покойника, а когда очнулся — три недели заикался и каждую ночь захлёбывался слезами. Твердил одно и то же: «Верка, я не звук слышал, я сам стоял внутри чужой тёмной комнаты, задыхался от керосинового чада и видел человека, который плакал над бумагой!». Врачи в поликлинике списали на подростковую эпилепсию, а Аркадий Соломонович в тот же вечер снял пусковую скобу и замуровал валики так, что больше их никто в глаза не видел.

— Сегодня утром, когда я открыл паз в цоколе, — медленно произнёс Верещагин, — мне почудился женский голос. Он сказал: «Не открывай, пока не стемнеет».

Губы Веры Марковны дрогнули.

— Дерево отозвалось, когда вы стронули пружину... Это не Лидин голос, Александр Павлович. У Лиды был грудной, низкий контральто. А эту фразу — «не открывай окно и ставни, пока на улице совсем не стемнеет» — всю жизнь после сорок второго года твердила старая Анна Михайловна. У неё после блокадных артобстрелов и строгих правил светомаскировки до последнего часа остался страх перед открытым светом. Выходит, на этом седьмом валике Аркадий записал саму Анну Михайловну.

— А почему вы упомянули обыск в шестьдесят восьмом году? Что тогда произошло с семьёй Гринбергов?

Вера Марковна сняла с плиты закипевший чайник, но заваривать чай сразу не стала — долго стояла у окна, глядя в мокрый простенок двора.

— Над ними все послевоенные годы висела какая-то страшная, немая беда, о которой в квартире вслух не говорили, — сказала она наконец, оборачиваясь к реставратору. — Сначала, в сорок шестом и сорок седьмом годах, когда Лида вернулась с фронта, они жили так счастливо, что на них смотреть было радостно. В июле сорок седьмого у них родился сынок — Маркуша. Беленький, тихий мальчик с огромными мамиными глазами. А в ноябре сорок девятого года, когда по всему Ленинграду по ночам шёл воронок за воронком по «ленинградскому делу»,

к Аркадию Соломоновичу приехал ночью человек в кожаном пальто на казённой «Победе». Заперлись они в угловой комнате на два часа. Наутро Аркадий Соломонович вышел на кухню чёрный как земля, Лида неделю лежала пластом, отвернувшись к стене, а детская кроватка опустела. Нам с мамой сказали, что у мальчика нашли открытую форму костного туберкулёза, в двадцать четыре часа отправили по спецпутёвке в закрытый южный санаторий и там он в дороге не выжил.

— Вы не поверили?

— Сначала поверили и плакали вместе с ними. А летом пятьдесят второго года я ехала из института на трамвае мимо Таврического сада. Смотрю в окно — а по боковой дорожке вдоль решетки идёт наша Лида в скромном тёмном платьице с белым воротничком и ведёт за руку мальчика лет пяти в нарядной матроске. И мальчик этот — вылитый Аркадий Соломонович и сама Лида в детстве, те же светлые глаза с прищуром, тот же упрямый подбородок! А в десяти шагах позади них медленно катит вдоль тротуара чёрная «Победа» с шофёром в фуражке. Я тогда вечером спросила маму шёпотом на кухне, а мама зажала мне рот ладонью и велела забыть навсегда: Лида три раза в неделю ходила приходящей няней и экономкой в семью какого-то большого полковника из управления на Литейном.

У Верещагина внутри словно щёлкнула и встала на место тяжёлая стальная шестерня.

— Полковника случайно звали не Блюм? — тихо спросил он.

Старушка изумлённо вскинула голову:

— Откуда вы знаете?.. Я ведь эту фамилию услышала впервые только на прошлой неделе от Вельяминова, когда он оформлял покупку секретера для Марка Соломоновича Блюма! Постойте... Александр Павлович, вы хотите сказать, что нынешний хозяин этого «Северного Ковчега» по имени Марк...

— Пока ничего не хочу утверждать наверняка, Вера Марковна. Договорите, что случилось в марте шестьдесят восьмого.

— В марте шестьдесят восьмого всё и оборвалось, — она тяжело опустилась на стул. — Двадцатого марта вечером Аркадий Соломонович с Лидой долго шептались у себя за дверью, жгли какие-то бумаги в печке, а утром двадцать первого марта Лида вышла в коридор в сером пальто с одной маленькой дорожной сумочкой. Обняла мою маму в прихожей — руки ледяные, губы как мел — и сказала, что едет на несколько дней в Москву проведать тётку. А ровно через сутки, в девять утра двадцать второго марта, в нашу квартиру позвонили трое в штатском с понятыми и ордером на обыск комнаты Гринберга. Искали звуковые валики, схемы и какие-то записи. Аркадий Соломонович не пускал их к секретеру, заслонил его собой, вдруг страшно захрипел, схватился за левое плечо и упал лицом на паркет. Когда приехала «скорая», он был уже мёртв — разрыв аорты или обширный инфаркт. Комнату их опечатали сургучом, валики из ящиков стола и какие-то общие тетради увезли в мешке, а Лида из Москвы так никогда и не вернулась. Даже на похороны мужа не приехала — как в воду канула.

Вера Марковна посмотрела на латунный валик «№ 7», лежавший на клеёнке, и тихо добавила:

— Будьте предельно осторожны с этими людьми, Александр Павлович. Я не знаю, что знал нынешний Блюм про своего отца и про Аркадия Соломоновича, но люди, которые в шестьдесят восьмом году перевернули вверх дном эту квартиру, довели мастера до гроба за полчаса. Забирайте валик и никому из «Ковчега» не показывайте, пока сами не разберётесь.

Выйдя из парадной в сырой каменный колодец двора, Верещагин постоял минуту под моросящим небом, переводя дыхание, а затем достал телефон и нашёл в записной книжке номер Полины Ковалёвой — молодой сотрудницы Центрального государственного архива на Таврической улице, для которой два года назад клеил и выправлял дубовые ящики старинной сенатской картотеки.

— Полина? Добрый день, это Верещагин Александр Павлович. Простите, что отрываю от дел. Мне очень нужна ваша профессиональная помощь — неофициально, по старой дружбе. Сможете проверить по вашим адресным фондам и передаточным описям спецхрана две фамилии? Первая — Гринберг Аркадий Соломонович, тысяча девятьсот пятнадцатого года рождения, часовщик и механик с улицы Ленина, умер двадцать второго марта шестьдесят восьмого года. И вторая — Блюм, предположительно полковник ведомства на Литейном в сороковые–шестидесятые годы. Нет, Полина, это не для книги. Кажется, мне вчера привезли на реставрацию предмет, за который в шестьдесят восьмом году заплатили человеческой жизнью.

Сумерки опустились на Петроградскую сторону рано — густые, синие, пахнущие мокрым чугуном оград, дымом и близкой невской водой.

Домой на третий этаж Александр Павлович подниматься не стал. Вернувшись в мастерскую, он запер уличную дверь на тяжёлый внутренний засов, проверил крючок на ставне единственного окна во двор и задёрнул плотную холщовую штору. Включать верхние люминесцентные плафоны почему-то не хотелось — их мёртвый, гудящий белый свет казался здесь сейчас неуместным, почти кощунственным.

Вместо этого он зажёг на краю верстака толстую свечу из неотбеленного пчелиного воска в низком медном шандале — такие он всегда держал под рукой, когда требовалось разогреть шеллачную палочку для заделки глубоких трещин или проверить на отсвет качество ручной полировки.

Живой, чуть подрагивающий язычок пламени выхватил из полумрака точёные колонки дрезденского секретера и отбросил на кирпичный свод длинные зыбкие тени. Флюшка, дремавшая в плетёной корзинке у тёплой печной трубы, подняла голову, внимательно посмотрела на свечу, потом на хозяина и бесшумно ушла в самый дальний угол за стеллажи с досками — словно заранее снимала с себя всякую ответственность за то, что сейчас произойдёт.

— Не нагнетай, — тихо буркнул ей вслед Верещагин. — Я просто проверю механику.

Он откинул письменную доску секретера, надел роговые очки и вооружился узким стоматологическим зеркальцем на длинной стальной ручке и направленным лучом маленького фонарика.

Утром он осматривал бюро как краснодеревщик, ищущий столярный тайник. Теперь же, после рассказа Веры Марковны, он смотрел на него глазами механика.

Он вынул белый фарфоровый стаканчик из круглого чернильного гнезда справа. На первый взгляд под ним было обычное глухое донце, подбитое зелёным сукном. Но когда Александр Павлович подцепил пинцетом край суконного кружка, ткань легко снялась вместе с тонкой латунной шайбой, открыв под собой удивительную картину.

В глубине корпуса, прямо под чернильницей, скрывалось точёное бронзовое шасси, врезанное в массив с точностью швейцарского хронометра. Сбоку темнела поворотная кулиса. Верещагин сдвинул её кончиком отвёртки влево — и перед ним открылась цилиндрическая втулка с косыми ведущими шлицами, в точности соответствующими зубчатым ободкам на краях валика «№ 7». Над втулкой на тончайшем стальном подвесе покоилось коромысло с крошечной, прозрачной как слеза сапфировой иглой. А от пятки коромысла вглубь секретера, сквозь прорези во внутренней переборке, уходили две витые серебряные струны, натянутые над скрытой резонаторной декой из старой мелкослойной карпатской ели.

Никакого внешнего рупора или граммофонной трубы у аппарата не было. Весь корпус столетнего немецкого секретера — его сухие махагониевые боковины, еловая дека и откидная письменная доска — представлял собой единый замкнутый акустический резонатор, рассчитанный так, чтобы отдавать вибрацию иглы непосредственно в древесину под руками сидящего за бюро человека.

— Ну и голова же у тебя была, Аркадий Соломонович, — с невольным ремесленным благоговением прошептал Верещагин.

Он достал из кармана валик «№ 7», осторожно сдул с микронной спирали невидимую пылинку и ввёл цилиндр в гнездо до мягкого, маслянистого щелчка концевого фиксатора.

Секретер молчал. Пружинный барабан внутри был заведён — это чувствовалось по упругому натягу шлицев, — но анкерный спуск удерживал валик на месте.

Александр Павлович вспомнил слова старушки Штерн о том, как её брат Юрка подсмотрел за работой часовщика. Пусковой контакт должен был срабатывать от веса рук на рабочей поверхности. Верещагин выключил карманный фонарик, оставив гореть одну лишь свечу на верстаке, придвинул табурет, положил обе раскрытые ладони на полированную откидную доску по бокам от чернильного гнезда и чуть сильнее прижал большие пальцы к медному ободку.

Под большими пальцами подалась вниз на долю миллиметра скрытая кольцевая педалька.

Внутри секретера тихо, мелодично пропела освобождённая серебряная струна. Скрытый в глубине часовой маховик с воздушным ветряком плавно набрал обороты — совершенно беззвучно для уха, но в ту же секунду под подушечками пальцев и ладонями Верещагина побежала частая, плотная, пробирающая сквозь кожу, запястья и локтевые кости до самого основания черепа вибрация.

Пламя восковой свечи на шандале вдруг вытянулось в тонкую голубую иглу и погасло — словно кто-то не задул его, а медленно вывернул фитиль изнутри.

И темнота вокруг сжалась.

Это не было ни сном, ни оптическим видением перед закрытыми глазами. Кирпичные стены мастерской словно сдвинулись вплотную, обступив его со всех сторон ледяным, вымерзшим пространством высокой угловой комнаты. Вибрация сухого дерева, идущая по костям рук прямо в височные доли и слуховую кору, восстанавливала из микронной нарезки латуни не только звуковую волну, но и всё физическое поле того мгновения, когда звук впечатывался в металл.

Верещагин задохнулся от внезапного, режущего горло холода — в комнате было никак не выше минус десяти градусов. Изо рта шёл густой пар, а в неподвижном воздухе стоял тяжёлый, непередаваемый запах февральского блокадного жилья: едкая гарь солярки из самодельной коптилки, дух прелого овчинного тулупа, горький хвойный отвар в кастрюльке и слабый, ацетоновый запах крайнего человеческого истощения.

Высокие венецианские окна были наглухо зарبрикадированы ватными одеялами и заклеены крест-накрест полосками старых газет. На круглом столе в щербатом фаянсовом блюдце трещал и плевался синей копотью скрученный из бинта фитилёк.

А внизу, в углу слева от секретера, стояла на коленях на голом обледеневшем паркете женщина. На ней было старое зимнее пальто с облезлым каракулевым воротником, подпоясанное верёвкой, и тёмный платок, из-под которого глядело восковое, обтянутое пергаментной кожей лицо с огромными, воспалёнными глазами. Широкая дубовая планка плинтуса у стены была отжата ломиком, и распухшие, почерневшие от обморожения и цинги пальцы женщины с мучительным трудом проталкивали в кирпичный продух плоскую жестяную коробку из-под леденцов с двуглавым орлом на крышке.

Рядом, в полушаге от самого Верещагина, склонившись над открытым секретером, стоял худой сутулый мужчина лет двадцати семи в очках с перевязанной суровой ниткой дужкой и в армейском полушубке поверх ватника — молодой Аркадий Гринберг. Его посиневшие от стужи, но удивительно точные пальцы бережно придерживали тормозной рычажок механизма, чтобы загустевшее на морозе масло не сбивало шаг сапфирового резца.

— Говорите, Анна Михайловна, не бойтесь, — глухо, сквозь кашель произнёс молодой голос часовщика, и Верещагин ощутил этот голос собственной грудной клеткой. — Резец идёт ровно, латунь мягкая. Лидочка вернётся и услышит вас так, будто вы стоите рядом.

Женщина у плинтуса прижала обескровленные ладони к груди, переводя короткое, свистящее дыхание, и заговорила — торопливо, горячо, глядя снизу вверх прямо в тёмное зеркало секретера, туда, где сейчас стоял сам Александр Павлович:

— Лидочка, девочка моя бесценная... Если ты вернёшься с войны и включишь Аркашин аппарат — не пугайся и не плачь. Аркадий вчера принёс нам со своей службы в Большом доме пайкового шпика и сухих ящиков на растопку, он меня спас на этой неделе, но если моё сердце всё-таки не дотянет до ледохода — знай, что я уходила без боли. Тут не страшно, родная моя, тут просто очень холодно к утру. В жестяной коробке за дубовым плинтусом я спрятала наши метрики, бабушкины гранатовые серёжки и моё письмо тебе. Прочти его, только когда останешься в комнате совсем одна, без чужих глаз. Я знаю, ты обязательно вернёшься, ты у меня счастливая. Береги Аркадия, слушайся его во всём... и не открывай ставни, пока совсем не стемнеет.

Внутри корпуса сухо, отчётливо щёлкнул концевой стопор. Серебряная струна издала последний тонкий, замирающий вздох и смолкла.

Ледяная комната сорок второго года схлопнулась, как закрытая книга.

Александр Павлович с хриплым вздохом рухнул с табурета на оба колена прямо на дощатый пол мастерской, всё ещё судорожно цепляясь побелевшими, потерявшими чувствительность пальцами за край откидной доски секретера. В темноте тонко пахло горячим пчелиным воском и сизым дымком только что погасшего фитиля.

Кисти рук до самых локтей ломило так, словно он действительно десять минут продержал их в ледяной невской проруби. Верещагин с трудом разжал сведённые пальцы, сел на пол, привалившись спиной к дубовой ножке верстака, и несколько минут просто тяжело дышал, глядя в темноту и дожидаясь, пока перестанет колотиться где-то у самого горла сердце.

Из-за стеллажей бесшумно вышла Флюшка. На этот раз она не стала держаться в стороне — подошла вплотную, ткнулась холодным мокрым носом в его ледяную ладонь и вдруг улеглась прямо на его скрещённые ноги, прижавшись всем своим тёплым, живым кошачьим телом и заведя низкое, вибрирующее мурлыканье.

— Видала, старая? — шёпотом спросил Александр Павлович, гладя непослушными пальцами её жёсткую полосатую спину. — А я ведь думал — давление... Это была Анна Михайловна Левитина. Февраль сорок второго года. Значит, она всё-таки выжила в ту зиму благодаря Аркадию, дотянула до мая сорок шестого, но коробку из-за плинтуса так и не достала — берегла для дочери.

Когда он наконец поднялся с пола и зажёг верхний свет, настенные ходики показывали четверть одиннадцатого.

Верещагин поставил чайник, чтобы согреть руки о горячую кружку, и в эту самую минуту на верстаке рядом с шандалом зажужжал мобильный телефон. Звонила Полина Ковалёва.

— Александр Павлович? — голос архивистки в трубке был тихим и каким-то оглядывающимся, будто она говорила из коридора хранилища. — Простите, что так поздно, но я задержалась после смены у коллег в спецхране на Литейном и подняла учётные карточки по вашим фамилиям. Вы сидите?

— Сижу, Полина. Говорите.

— Часовщик Гринберг Аркадий Соломонович действительно с января сорок второго по март шестьдесят восьмого года числился вольнонаёмным спецмастером при четвёртом научно-техническом отделе управления МГБ, а затем КГБ по Ленинградской области. Занимался конструированием и ремонтом закрытых механических систем звукозаписи. А его бессменным куратором, чья подпись стоит на всех пропусках и характеристиках Гринберга за двадцать шесть лет, был заместитель начальника отдела полковник Блюм Соломон Моисеевич!

Верещагин закрыл глаза. Отчество нынешнего хозяина «Северного Ковчега» — Марк Соломонович Блюм — окончательно встало на своё место.

— А что случилось с самим полковником Блюмом, Полина?

— Вот тут самое странное, Александр Павлович! Полковник Соломон Моисеевич Блюм скончался в Свердловской больнице двадцать шестого апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года от повторного инфаркта — ровно через месяц после того, как во время обыска на улице Ленина умер его подшефный часовщик Гринберг! Причём в карточке Гринберга стоит отметка об изъятии спецтехники и личных бумаг, но часть описей ушла в другие фонды, мне чтобы их найти, понадобится ещё день-два. Александр Павлович, ради бога, скажите честно: у вас в мастерской находится аппарат из этого дела?

— Пока только дерево от него, Полина, — тихо ответил Верещагин, глядя на открытый секретер. — Спасибо вам огромное. Если раскопаете номера актов изъятия за шестьдесят восьмой год — сразу дайте мне знать.

После звонка Полины он долго не мог заставить себя подняться наверх в спальню. Набросил на плечи старую телогрейку, сидел за верстаком с остывшим чаем и смотрел на латунный валик «№ 7», лежавший на сукне. Если Аркадий Гринберг поставил на этот цилиндр седьмой номер, значит, до него существовали ещё как минимум шесть. И если он спрятал в секретере один, то где гарантия, что в старом дереве нет второго?

Ровно в половине второго ночи тишину мастерской разорвал резкий звонок телефона. На экране высветился прямой номер Игоря Вельяминова.

Александр Павлович выждал три гудка и нажал кнопку:

— Слушаю вас.

— Надеюсь, не помешал вашему отдыху, Александр Павлович? — голос управляющего «Северного Ковчега» в ночной тишине утратил всякую дневную бархатность и звучал сухо, отчётливо и холодно, как стальная линейка. — Вы ведь не спите, я полагаю?

— Допустим, не сплю. В чём дело, Игорь?

— Дело в том, что сегодня в девять часов вечера мне на рабочий телефон позвонила старушка Вера Марковна Штерн с улицы Ленина. Старушка была весьма взволнована. Стала стыдить меня за то, что мы якобы утаили от неё ценность секретера, и проговорилась, что днём к ней приходил реставратор Верещагин, который нашёл внутри бюро латунный валик часовщика Гринберга и подробно расспрашивал о семье бывших жильцов и полковнике Блюме.

Верещагин молча смотрел на тёмное стекло окна, по которому ползла редкая ночная капля. Бедная Вера Марковна — хотела заступиться за память соседей, а сама невольно сдала его с потрохами.

— Вы ведь понимаете, Александр Павлович, что играть со мной в прятки дальше бессмысленно, — спокойно продолжил Вельяминов. — Валик у вас. Возможно, не один. Я человек практический и не люблю лишнего шума, поэтому предлагаю закрыть это недоразумение полюбовно. Завтра ровно в двенадцать дня я заезжаю к вам в мастерскую. Вы передаёте мне

всё, что нашли в секретере и в квартире на улице Ленина, я выплачиваю вам наличными тройную стоимость реставрации вперёд, и мы расстаёмся добрыми друзьями.

— А если я считаю, что предсмертная запись старой учительницы для её дочери не входит в стоимость антикварного гарнитура? — негромко спросил Верещагин.

В трубке повисла короткая, звонкая пауза.

— Тогда мне придётся напомнить вам о реальности, в которой мы живём, Александр Павлович, — тон управляющего стал почти сочувственным. — У вас чудесная старая мастерская на Петроградской стороне, муниципальная аренда от КУГИ, которую вам нужно продлевать после Нового года, деревянные перекрытия, десятки литров легковоспламеняющихся лаков и растворителей под жилыми квартирами... Достаточно одного звонка в госпожнадзор и районную администрацию, чтобы послезавтра ваши верстаки опечатали, а вас самого выставили на улицу с волчьим билетом во всех антикварных салонах города. И ещё одно: ваша дочь Анна Александровна Верещагина ведь работает врачом-кардиологом в двадцать шестой городской больнице на улице Костюшко? У неё прекрасная репутация, больные её любят. Подумайте сами, стоит ли кусок старой чужой латуни того, чтобы у вашей дочери начались внезапные проверки прокуратуры по историям болезни? До завтрашнего полудня у вас есть десять часов, чтобы принять единственно верное решение. Спокойной ночи, Александр Павлович.

Связь оборвалась коротким гудком.

Верещагин медленно положил телефон на край верстака. Странное дело: страх, который ещё минуту назад холодил грудь, от слов о дочери и мастерской вдруг испарился без следа, сменившись тяжёлой, спокойной и очень холодной яростью. Господин Вельяминов привык иметь дело с запуганными оценщиками и податливыми перекупщиками — он не знал, какими упрямыми бывают старые ленинградские мастера, когда кто-то пытается брать их на испуг в их собственном доме.

Александр Павлович подошёл к инструментальному шкафу, достал сильную налобную лупу, узкое шило и набор тонких столярных стамесок. До утра оставалось ещё пять часов — вполне достаточно, чтобы обыскать дрезденский секретер до последнего шипа прежде, чем идти на улицу Ленина вскрывать замурованный за плинтусом тайник сорок второго года.

Глава 2

Глава 2. Дом на Петроградской

До рассвета оставалось больше четырёх часов, и эти часы Александр Павлович провёл с часовой отвёрткой и шилом в руках.

Искать второй тайник наугад было пустой тратой времени. За полночь, когда гул редких машин на Малом проспекте совсем стих и в полуподвале осталось только мерное капанье воды в чугунную раковину да сухой треск остывающей плитки, Верещагин заставил себя рассуждать не как столяр, а как механик.

Первую схоронку в нижнем цоколе Аркадий Гринберг сделал по столярным правилам — врезал заподлицо клин-засов в массив махагони. Но часовщик, привыкший иметь дело с обысками и чужими цепкими глазами, прекрасно понимал: если оперативники нащупают паз в правой ножке, они первым делом вывернут наизнанку весь нижний обклад и простучат молотками дно тумбы. Значит, второй цилиндр — если он вообще существовал в этом бюро — следовало искать там, где металл и пустота присутствуют открыто, на самом виду, не вызывая ни малейших подозрений.

Верещагин надел бинокулярную лупу, взял переносной светильник на длинном шнуре и занялся верхним ярусом секретера.

Откидная письменная доска удерживалась в горизонтальном положении двумя массивными латунными кулисами — плоскими изогнутыми рычагами, которые при закрывании крышки плавно уходили в узкие прорези по бокам центральной ниши. Александр Павлович посветил в левую прорезь, затем в правую.

В правой прорези стальной стопорный винт, ограничивающий ход кулисы, сидел на полтора миллиметра глубже, чем слева, а шлиц на его полукруглой шляпке был едва заметно сорван — не заводской отвёрткой девятнадцатого века, а более тонким, закалённым жалом.

Верещагин ввёл отвёртку в щель и попробовал стронуть винт против часовой стрелки. Шляпка не выкручивалась — она вращалась вхолостую, но при каждом полуобороте внутри переборки, отделявшей прорезь кулисы от малых почтовых ящичков, ощущалось лёгкое упругое сопротивление червячной резьбы. На четвёртом обороте внутри глухо щёлкнул палец фиксатора.

Задняя буковая стенка за центральной арочной нишей — та самая, которую утром Верещагин простукивал костяшкой пальца и принял за цельный щит, — чуть просела вниз и откинулась вперёд на скрытых нижних штифтах.

За ней не было пустоты, которая могла бы выдать себя звонким эхом при простукивании. Всё пространство между двойными стенками шириной в два пальца было плотно забито старым просаленным войлоком, гасившим любой звук, как сурдина в пианино. А посередине войлочной подушки, в круглой выемке, обтянутой выцветшим зелёным сукном от старого ломберного стола, тускло блестел второй латунный валик.

Александр Павлович вынул его пинцетом и поднёс к самой лампе.

Этот цилиндр отличался от седьмого. Латунь здесь была чуть темнее, с красноватым медным отливом, а спиральная звуковая дорожка шла не сплошной лентой от края до края, а делилась на две неравные части узким гладким пояском — словно запись останавливали, а потом дописывали в другое время и другим резцом. На правом торце неглубоким, торопливым штихелем была выведена цифра «№ 3».

Слушать его сейчас, в пятом часу утра, после бессонной ночи и полуторачасового телефонного разговора с Вельяминовым, Верещагин не решился. В висках и без того тяжело, вразнобой с ходиками постукивала кровь, а кончики пальцев левой руки всё ещё хранили фантомное колотьё после вечернего погружения в сорок второй год.

Он завернул оба валика — седьмой и третий — в вощёную бумагу, уложил их на дно старой жестяной банки из-под свинцового сурика, засыпал сверху до краёв сухой меловой пудрой и поставил банку в дальний угол сушильного чулана за штабелем дубовых досок, где в ряд стояли два десятка точно таких же ржавых жестянок с пигментами и квасцами. Даже если Вельяминов приведёт в полдень бригаду опытных ищеек, перетряхивать три пуда мела и охры в поисках куска латуни им придёт в голову в последнюю очередь.

В семь утра, выпив кружку крутого кипятка без заварки и сунув под язык таблетку от давления, Александр Павлович сложил в потёртый кожаный саквояж узкую стамеску, скальпель, фонарик и столярный молоток с кованым гвоздодёром.

Утро на Малом проспекте выдалось сизым, ветреным и промозглым. Дождь перестал, но с Малой Невки тянуло такой пронзительной сыростью, что редкие прохожие, спешившие к ранним трамваям, втягивали головы в воротники, а дворник в оранжевой безрукавке у ворот шестнадцатого дома угрюмо скреб метлой налипшую на асфальт чёрную листву.

На лестничную площадку третьего этажа на улице Ленина Верещагин поднялся в половине восьмого.

На этот раз Вера Марковна открыла не сразу. За обитой дерматином дверью долго стояла напряжённая тишина, затем сухо щёлкнул глазок, и голос старушки прозвучал через закрытую створку — глухо, враждебно и надтреснуто:

— Зачем вы опять пришли, Александр Павлович? Ещё восьми нет. У меня давление двести, я всю ночь из-за вас корвалол пила. Уходите, бога ради, ничего я вам больше не скажу.

— Вера Марковна, не держите меня на площадке, соседи услышат, — негромко, но твёрдо произнёс Верещагин, наклоняясь к самой замочной скважине. — Вельяминов звонил мне сегодня в половине второго ночи. Сказал, что вы вечером сами набрали его номер. Мне нужно забрать то, что Анна Михайловна оставила для дочери в угловой комнате, пока сюда не явились его люди.

За дверью послышался тяжёлый, прерывистый вздох. Звякнула щеколда, натянулась и упала цепочка.

Вера Марковна стояла на пороге в старом стеганом капоте поверх ночной сорочки, с седыми косичками, растрепавшимися вокруг маленького землистого лица. За сутки она словно усохла на полголовы; глаза за толстыми стёклами очков были красными и припухшими.

— Проходите скорей, — зашептала она, оглядываясь на пролёт лестницы и торопливо запирая за ним замок на оба оборота. — Ведь это я, старая дура, сама всё испортила! Вы вчера ушли, а меня к вечеру такая злость взяла за Лидочку и Аркадия Соломоновича. Думаю: дай позвоню этому Вельяминову, скажу ему в глаза, что грешно скупать чужое горе за тридцать сребреников, что старый мастер Верещагин уже нашёл в секретере запись Анны Михайловны и на чистую воду их выведет! А он выслушал меня ледяным голосом и говорит: «Благодарю за бдительность, Вера Марковна. Только учтите: если вы утаили от покупателя ещё какие-то части комплекта, наш юрист завтра же расторгнет сделку через суд и стребует с вас неустойку в двойном размере». У меня и ноги подкосились. Ведь я половину тех денег уже племяннице в Псков на операцию перевела! Чем я им отдавать буду — гробовыми со сберкнижки?!

Она схватила Верещагина за мокрый рукав плаща сухими, горячими пальцами:

— Александр Павлович, отдайте вы им этот проклятый валик! Покойников всё равно не воскресишь, Аркадий Соломонович сорок лет как на кладбище лежит, и Лидочки, верно, давно на свете нет, а нас с вами они со света сживут и не поморщатся!

— Валик я им пока не отдам, Вера Марковна, а вот вас они не тронут, — спокойно сказал Верещагин, снимая шляпу. — В расписке, которую вы им подписали, значится «секретер красного дерева в существующей сохранности, без претензий к комплектности»?

— Так точно и написано, я сама читала...

— Значит, пугает вас ваш Вельяминов на пустом месте. Никакой суд у старого человека деньги за старый шкаф не отберёт. А теперь ведите меня в угловую комнату. Вчера вечером я запустил седьмой валик. В феврале сорок второго года Анна Михайловна спрятала в вентиляционном продухе за плинтусом жестяную коробку для Лиды. Если мы оставим её здесь, а Вельяминов надумает прислать сюда своих молодцов под видом оценщиков — она попадёт в чужие руки.

Старушка мелко затрясла головой, но спорить не посмела — только махнула рукой в сторону высокой двери в конце коридора.

Угловая комната с двумя высокими венецианскими окнами, выходившими на перекрёсток улицы Ленина и Полозовой, в утреннем сером свете казалась просторной и холодной. На месте, где в сорок втором году стоял дрезденский секретер, на выцветших обоях в мелкую полоску выделялся тёмный невыгоревший прямоугольник, а на паркете виднелись четыре глубокие лунки от его точёных ножек.

Верещагин прошёл в левый угол у глухого простенка, опустился на корточки и поставил саквояж на пол.

Широкий, в добрую четверть аршина, профилированный дубовый плинтус тянулся вдоль стены сплошной лентой, покрашенной поверх старой олифы густой красно-коричневой половой краской. В самом углу, сантиметрах в сорока от оконного наличника, там, где в блокадном

видении стояла на коленях Анна Михайловна, верхняя кромка плинтуса отставала от штукатурки на толщину спички.

Александр Павлович включил узкий луч фонарика и провёл ногтем большого пальца по дубовой пласти.

Так и есть: доска была распилена наискось под сорок пять градусов ещё при постройке дома, чтобы закрывать ревизионное окошко старого стенного дымохода или душника. Но поверх распила в дерево были намертво вколочены два толстых кованых гвоздя с квадратными шляпками, утопленные заподлицо и замазанные старой суриковой замазкой под цвет краски.

— Кто и когда красил здесь плинтуса в последний раз, Вера Марковна? — не оборачиваясь, спросил Верещагин, выбирая из кожаного гнезда саквояжа узкую стамеску.

— Да мы с мамой в семьдесят первом году и красили, когда с комнаты Гринбергов казённые печати сняли и нам её по ордеру присоединили, — глухо ответила старушка от дверей. — А до того здесь в углу двадцать лет стоял тяжёлый дубовый гардероб Аркадия Соломоновича, этот угол вообще заставлен был наглухо.

Верещагин кончиком скальпеля аккуратно прорезал старую плёнку масляной краски вдоль косого стыка, чтобы при отжиме доска не потянула за собой штукатурку и обои, а затем лёгкими, выверенными движениями стамески начал выкрашивать окаменевшую за полвека замазку над шляпками гвоздей.

Сурик крошился неохотно, с сухим каменным скрипом. Когда наконец обнажились ржавые четырёхгранные головки, Александр Павлович подложил под пятку молотка обрубок буковой плашки из саквояжа, подцепил первую шляпку развилкой гвоздодёра и плавно налёг всем весом плеча.

Изнутри стены раздался протяжный, ржавый, похожий на старческий стон визг железа по сухому дереву и кирпичу. Длинный, в палец толщиной костыль со следами старой известки вышел наружу. За ним, осыпав на паркет горсть серой трухи, поддался и второй.

Верещагин ввёл плоское жало стамески в боковой распил и осторожно отжал дубовую панель на себя.

Из квадратного черного жерла в толще дореволюционной кладки пахнуло ледяным, неподвижным воздухом сорок второго года — сухой печной сажей, мышиным прахом и горькой махорочной пылью, которой в войну засыпали щели от сырости.

Александр Павлович посветил фонариком в глубину ниши. На третьем ряду неоштукатуренного красного кирпича, припорошенная седым налётом высолов, лежала плоская прямоугольная коробка, обёрнутая в почерневшую, местами истлевшую до ниток промасленную клеёнку.

Он вынул свёрток обеими руками и положил его на газету, расстеленную на круглом столе.

Клеёнка под пальцами рассыпалась сухими чешуйками, обнажив жестяную крышку коробки из-под леденцов товарищества «Георгъ Ландринъ» с полустёртым золотым тиснением. Края жести сцепились мелкой рыжей ржавчиной, но внутри, в сухой кирпичной стене за печным каналом, влага до бумаг не добралась.

Крышка поддалась с коротким жестяным щелчком, когда Верещагин провёл кончиком скальпеля по кромке.

Поверх пожелтевшего слоя слежавшейся аптечной ваты лежали перевязанные крест-накрест выцветшей георгиевской тесёмкой документы: метрическая выпись о крещении и браке Анны Михайловны, диплом об окончании Бестужевских курсов и свидетельство о рождении дочери Лидии Павловны Левитиной от четырнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать второго года. Под бумагами в углублении ваты темнели две старинные серебряные серёжки с тёмно-красными, как запекшаяся вишня, гранёными камнями богемского пиропа в глухой оправе.

А на самом верху лежал двойной лист в косую линейку, вырванный из ученической тетради и сложенный уголком, как фронтовое письмо, только без почтовых штемпелей. Поперёк треугольника твёрдой, чуть угловатой рукой было выведено: «Лиде. В собственные руки».

Вера Марковна стояла за спиной реставратора, вцепившись обеими руками в спинку венского стула, и дышала часто, со свистом.

— Господи... — шептала она. — Серёжки Анны Михайловны... Я ведь помню их по сорок шестому году: она всё сокрушалась перед смертью, что в сорок втором выменяла их на Сенном рынке на кружку столярного клея, и просила у Лидочки прощения, что не сберегла бабушкину память! Забыла, бедная, в голодном беспамятстве, что сама же замуровала их в стену... Читайте, Александр Павлович. У меня глаза туманом заволокло.

Верещагин осторожно развернул хрупкие, ломкие на сгибах половинки тетрадного листа. Письмо было написано в два приёма: первая страница — густыми фиолетовыми чернилами, которые к середине текста бледнели оттого, что в замерзающую чернильницу подливали талую воду, а последние абзацы — простым графитным карандашом.

«19 февраля 1942 года. Ночь.

Лидочка, доченька моя родная. Если ты держишь в руках этот листок, значит, война кончилась, ты вернулась домой с фронта живой, а меня уже нет. Не плачь обо мне, девочка, ты же знаешь, я никогда не терпела лишней сырости.

Час назад Аркадий записал мой голос для тебя на седьмой латунный валик в нашем секретере. Я говорила в раструб бодрые слова, чтобы не огорчать его — он стоял рядом, держал пальцами замёрзший маховик и смотрел на меня такими преданными, измученными глазами, что у меня не повернулся язык сказать при нём то, о чём я обязана предупредить тебя наедине.

Аркадий спас мне жизнь этой зимой, Лида. Без его хлеба и пайкового сала я бы лежала на Серафимовском ещё в январе, рядом с твоим папой. Но цена, которую с него за это взяли, страшнее голодной смерти.

Три недели назад Аркадий привёз наш секретер обратно из мастерской на Литейном, куда забирал его в декабре якобы для сохранности. Привёз не один — с ним пришёл человек в кожаном пальто с ромбами в петлицах, старший майор госбезопасности Соломон Моисеевич Блюм. Аркадий ввёл его в нашу нетопленную комнату как благодетеля, суетливо вытирал рукавом стул, а Блюм положил на стол брусок казённого шпика и банку американской тушёнки — не как гость кладёт угощение, а как хозяин бросает кость борзой собаке, чтобы та не сдохла до конца охоты. Пока Аркадий в коридоре колол лучину для печурки, этот Блюм подошёл к моей кровати, посмотрел на меня пустыми рыбьими глазами и сказал тихо: „Ваш зять — самородок, Анна Михайловна. Его костный фонограф пишет человеческий голос так, что на валике слышна любая дрожь связок, любой скрытый умысел, а саму запись невозможно ни подделать, ни склеить ножницами, как плёнку. Пока Гринберг сидит тихо и точит валики для моих кабинетов, вы будете с хлебом, а ваша дочь Лидия Павловна не попадёт из санитарного поезда в штрафную роту за разговоры вашего покойного мужа в тридцать седьмом году. Но если зять вздумает проявить характер — пеняйте на себя“.

Лидочка, девочка моя, мне страшно за Аркадия. Он мягкий, бесконечно добрый человек, он не создан для железных клещей. Ему кажется, что он перехитрил дьявола — взял у Блюма паёк, спас тёщу, уберёг тебя на фронте, а сам останется чистым и будет просто чинить шестерёнки. Но вчера ночью я видела, как он приносил домой на перезаточку три использованных валика из управления. Руки у него тряслись так, что он уронил резец, а потом сидел у холодной печки и плакал без звука, зажав рот шапкой, чтобы я не услышала, какие голоса ему пришлось соструживать с этой латуни.

Блюм не отпустит его после войны, Лида. Такие люди не оставляют свидетелей своей кухни. Когда вернёшься и похоронишь меня — не устраивай сцен, не ходи в Большой дом и не упрекай Аркадия: он сломал себя ради нас с тобой. Но если вы хотите остаться людьми и вырастить детей — бегите из Ленинграда при первой же возможности, бросьте эту квартиру, сожгите чертежи и уезжайте хоть в Сибирь, хоть на край света, где вас не достанет рука Блюма.

Прощай, родная моя. Храни тебя Господь. Мама».

Александр Павлович замолчал и медленно положил тетрадный лист на клеёнку рядом с тусклыми гранатовыми серёжками.

В утренней тишине комнаты стало слышно, как за окном по улице Ленина с металлическим лязгом прошёл первый трамвай, и от его тяжёлой поступи едва слышно звякнула стеклянная дверца в старой ореховой горке.

— Значит, Анна Михайловна после той февральской ночи прожила ещё четыре года, — тихо проговорил Верещагин. — А коробку из стены так и не вынула. Почему?

— Потому что к сорок четвёртому году у неё после микроинсульта отнялись ноги, она дальше кровати не двигалась, а просить чужих людей или самого Аркадия Соломоновича достать письмо, где написано такое про его начальника, она не могла, — Вера Марковна тяжело опустилась на стул и вытерла глаза краем пухового платка. — А когда она умерла в мае сорок шестого, Аркадий Соломонович, видать, стал прибирать комнату к приезду Лиды, нашёл расшатанный плинтус, прочитал тёщино письмо... и понял, что если Лида прочтёт эту правду о том, какими валиками они оплатили мамин паёк, она не сможет с ним жить.

— Или пойдёт прямо к полковнику Блюму швырять ему в лицо фронтовые награды, — добавил Верещагин. — Поэтому он положил письмо и серёжки обратно в жестянку, намертво пришил дубовый плинтус коваными гвоздями, зашпатлевал суриком и придвинул сверху тяжёлый платяной шкаф. Решил понести этот крест один.

Он задумчиво посмотрел на пожелтевшие строчки, написанные графитным карандашом: «...если вы хотите остаться людьми и вырастить детей — бегите из Ленинграда...».

Они не убежали. Остались в Ленинграде, в июле сорок седьмого года у них родился сын Марк, а через два года, в ноябре сорок девятого, полковник Соломон Блюм явился в эту самую комнату уже не за валиками, а за их ребёнком.

— Вера Марковна, — сказал Александр Павлович, бережно укладывая метрики и серёжки обратно на ватную подушечку жестянки и закрывая крышку. — Коробку Анны Михайловны прятать в вашей квартире больше нельзя. И у меня в мастерской до полудня ей тоже не место. Я сейчас уберу письмо и жестянку в свой саквояж, а по дороге домой сдам на хранение человеку, до которого руки Вельяминова не дотянутся. А эту доску плинтуса я сейчас поставлю на место на старые гвозди и притру пылью так, что ни один эксперт не заметит вскрытия.

— Храни вас бог, Александр Павлович, — старушка поднялась, подошла к ореховой горке и достала из-за стекла небольшую фотографию на плотном тисненом картоне. — Возьмите тогда и эту карточку. Она у моей мамы в альбоме с сорок первого года лежала — Анна Михайловна сама подарила, когда мы въехали. Это май сорок первого года, Лидочка с матерью за месяц до войны, в день, когда они с Аркадием расписались в ЗАГСе. Посмотрите, какие у неё тут глаза — ещё ничего не знает, смеётся...

Верещагин взял снимок. Рядом с сухой, прямой дамой в глухом платье с камеей у ворота стояла девятнадцатилетняя девушка в светлой блузке с отложным воротничком и двумя тяжёлыми тёмными косами, перекинутыми через плечи. Глаза у девушки были светлые, широко посаженные, с чуть приподнятыми к вискам упрямыми бровями и такой безоглядной, чистой радостью во взгляде, что смотреть на эту карточку после чтения февральского письма сорок второго года было почти физически больно.

Когда через четверть часа Верещагин вышел из парадной четырнадцатого дома на улицу, первым делом он набрал номер Полины Ковалёвой в архиве на Таврической.

— Александр Павлович? — голос Полины в трубке звучал устало и совсем не так бодро, как вчера вечером. — Я с восьми утра сижу в подвале над описями ЗАГСа и спецхрана, как вы просили, но новости у меня пока неутешительные.

— Что случилось, Полина?

— Книги актов гражданского состояния по Петроградскому району за сорок седьмой и сорок девятый годы не выдают без официального запроса родственников или прокуратуры — там срок секретности по закрытым усыновлениям семьдесят пять лет, он ещё не истёк! Я попробовала подойти к нашей заведующей сектором учёта, сослалась на научную сверку по демографии района, а она посмотрела на меня поверх очков и говорит: «Ковалёва, вы почему

второй день подряд запрашиваете карточки, по которым неделю назад уже наводили справки люди из частного антикварного фонда?»

Верещагин остановился посреди тротуара на Большом проспекте.

— Значит, Вельяминов был там до нас.

— Был или платил кому-то из старых сотрудников, — глухо подтвердила Полина. — А по описям изъятия шестьдесят восьмого года из квартиры Гринберга ещё хуже: в нашем архиве на Таврической лежат только пустые обложки наблюдательных дел, а сами вещественные доказательства и рабочие тетради в восемьдесят девятом году при расформировании ведомственного архива распределили по каким-то музейным хранилищам города без единого реестра. Чтобы найти, в какой именно музей попали коробки Гринберга и Блюма, мне нужно поднять триста передаточных ведомостей вручную. До вечера я даже половины не осилю.

— Не торопитесь и не подставляйтесь под удар начальства, Полина, — твёрдо сказал Верещагин. — Книги ЗАГСа за сорок девятый год нам, возможно, сегодня и не понадобятся. Кажется, ответ на этот вопрос уже лежит у меня в мастерской на латунном валике номер три. Дождитесь вечера и никому не называйте мою фамилию.

Едва он отключил связь, как телефон в ладони завибрировал снова. Высветился номер Вельяминова.

— Доброе утро, Александр Павлович, — голос управляющего звучал ровно, почти буднично, без вчерашней ночной вкрадчивости. — Надеюсь, утренняя прогулка на улицу Ленина укрепила вашу решимость не делать глупостей?

— Вы приставили к моему подъезду соглядатаев, Игорь? — спокойно спросил Верещагин, сворачивая в проходной двор к Малому проспекту. — Мелко для дома с вашей репутацией.

— Обычная страховка инвестиций, Александр Павлович. Старушка Штерн — женщина нервная, мы опасались, что вы убедите её спрятать или уничтожить оставшиеся бумаги. Напоминаю: ровно в двенадцать часов я буду у вашей двери. Очень рассчитываю на ваше благоразумие.

За сорок минут до полудня Александр Павлович поднялся к себе в квартиру на третий этаж, спрятал саквояж с жестяной коробкой Анны Михайловны, серёжками и подлинником письма в верхнем отделении старого стенного шкафа за пальто покойной жены, а с письма снял чёткую фотографию на телефон.

Спустившись обратно в мастерскую, он не стал прятать следы работы — напротив, оставил откидную доску секретера открытой, положил рядом на верстак часовую лупу и пинцет, а в промасленную холстину от седьмого валика завернул точёную латунную гильзу от старинного пружинного доводчика, которую выбрал утром в ящике со скобяным ломом. Гильза имела точно такой же диаметр и вес, даже торцы её были сняты фаской на токарном станке, только поверхность металла оставалась девственно гладкой.

Ровно в двенадцать часов у тротуара за окном мелькнул тёмный капот внедорожника, и дверной колокольчик над косяком коротко звякнул.

Вельяминов вошёл первым. Следом за ним, пригнув голову под низкой кирпичной притолокой полуподвала, шагнул массивный короткостриженый мужчина лет тридцати пяти в расстёгнутой чёрной куртке, с тяжёлыми скулами и совершенно равнодушным, тусклым взглядом человека, привыкшего решать вопросы без прений. Не дожидаясь приглашения, второй гость защёлкнул английский замок входной двери изнутри и встал спиной к филёнке.

Флюшка, сидевшая на краю верстака, бесшумно перемахнула на верхнюю полку стеллажа под самый свод и оттуда уставилась на пришельцев немигающими янтарными глазами.

— Пунктуальность — вежливость королей и хороших ремесленников, — Вельяминов подошёл к верстаку, не снимая перчаток, и положил рядом с тисками пухлый белый конверт из плотной бумаги. — Здесь сто пятьдесят тысяч рублей наличными, Александр Павлович. Втрое больше нашей сметы по договору. Считайте это премией за срочность и неразглашение. Где то, что вы нашли в секретере и сегодня утром у Штерн?

Верещагин не удостоил конверт даже взглядом. Молча взял с угла стола свёрток из старой холстины и положил его перед управляющим.

Вельяминов быстрым, отработанным движением откинул края ткани, поднял латунный цилиндр двумя пальцами к свету лампы — и в мастерской повисла тяжёлая, нехорошая тишина.

Секунды три управляющий неподвижно смотрел на гладкую трубку от дверного доводчика, затем с сухим стуком уронил её на дубовую столешницу. В его лице не дрогнул ни один мускул, только побелели крылья тонкого породистого носа.

— Вы всё-таки решили поиграть со мной в бирюльки, Верещагин, — негромко, почти сочувственно произнёс он. — На валиках Гринберга две косозубые ведущие шестерни по торцам и звуковая нарезка с шагом в сорок микрон. Эту водопроводную болванку вы можете оставить себе на память. Кирилл, проверь ящики верстака и кладовку.

Плечистый мужчина у двери молча отлип от косяка и сделал шаг к середине комнаты.

Александр Павлович не сдвинулся с места, даже не отнял рук от карманов рабочего фартука.

— Остановите своего человека, Игорь, — ровным голосом сказал он. — Если ваш Кирилл сейчас тронет хотя бы одну стамеску на моём столе, вы не получите валиков никогда. Ни сегодня, ни через суд, ни после моей смерти.

Вельяминов чуть прищурился, но руку поднял — коротко, двумя пальцами остановив охранника в полутора шагах от верстака.

— Смелое заявление для человека в вашем положении, Александр Павлович. На чём оно основано?

— На том, что настоящих валиков в этом помещении нет, — спокойно ответил Верещагин. — Зато копия письма Анны Михайловны Левитиной от девятнадцатого февраля сорок второго года, где подробно описано, как старший майор госбезопасности Соломон Моисеевич Блюм шантажировал часовщика Аркадия Гринберга и его семью, уже находится у моей дочери и у моих знакомых в государственном архиве. И если к часу дня я не выйду на связь, эта бумага вместе с заявлением о ночных угрозах и вымогательстве ляжет на стол дежурного прокурора города.

Управляющий долго, неподвижно смотрел в глаза старому реставратору, словно взвешивая на невидимых аптекарских весах степень его блефа. Ни тени раскаяния или стыда на его холёном лице не появилось — там шла быстрая, холодная калькуляция делового человека, столкнувшегося с непредвиденным сопротивлением материала.

— Подожди в машине, Кирилл, — наконец сухо бросил он через плечо. — И двигатель не глуши.

Когда за охранником затворилась уличная дверь, Вельяминов неспешно придвинул к себе рабочий табурет, стряхнул с него ладонью невидимую пылинку, сел и закинул ногу на ногу.

— Допустим, вы перестраховались, Александр Павлович, — заговорил он уже совсем другим тоном — жёстким, прямым, без прежней светской шелухи. — И допустим, у вас на руках действительно два валика из тайников секретера и какое-то блокадное письмо старухи Левитиной. Чего вы добиваетесь? Хотите продать их напрямую Марку Соломоновичу через мою голову? Напрасный труд: ни один человек не войдёт в его квартиру на Каменноостровском без моей визы.

— Мне не нужны деньги вашего хозяина, Игорь. И ваш белый конверт вы сейчас заберёте обратно в карман, — отрезал Верещагин. — Я хочу знать правду: зачем вам и Марку Соломоновичу понадобились эти записи сорок лет спустя и почему вы боитесь, что я услышу то, что на них записано?

Вельяминов криво усмехнулся, достал из кармана плоский серебряный портсигар, повертел его в пальцах, но закуривать не стал:

— Вы рассуждаете как герой советского романа, Александр Павлович. «Правда», «память», «справедливость»... А в жизни всё гораздо прозаичнее и жестче. Марку Соломоновичу Блюму шестьдесят один год, но его лёгкие сгорели на восемьдесят процентов — идиопатический фиброз, он задыхается даже в покое и живёт только за счёт кислородного концентратора. Жены и прямых наследников у него нет. Зато есть антикварный дом «Северный Ковчег», три галереи на Невском и коллекция живописи и прикладного искусства стоимостью в полтора десятка миллионов долларов, которую мы с ним собирали двенадцать лет.

— И вы рассчитываете возглавить этот фонд после его смерти?

— Я не рассчитываю — я имею на это полное право по проекту завещания, потому что вложил в это дело половину своей жизни, — холодно подтвердил Вельяминов. — Но полтора года назад, когда болезнь приковала Марка Соломоновича к креслу, у него началась стариковская навязчивая идея. В шестьдесят восьмом году его отец, полковник Соломон Блюм, умирая

в больнице от инфаркта, оставил ему латунный валик с номером четыре и велел разыскать секретер часовщика Гринберга. Сорок лет Марк Соломонович старался не вспоминать об этом наследстве — он прекрасно знал, в каком ведомстве служил его отец, и всю жизнь панически боялся копаться в отцовском грязном белье. А теперь, перед концом, его прорвало. Он отказывается подписывать учредительные бумаги нашего фонда, пока я не найду секретер Гринберга и все уцелевшие валики.

— Вы ведь уже пробовали запустить четвёртый валик без секретера? — прищурился Верещагин.

Лицо управляющего помрачнело:

— Пробовали прошлой зимой. У Марка Соломоновича сохранился старый настольный привод из кабинета отца — коробка с часовым механизмом и стальной мембраной. Мы пригласили толкового инженера-акустика из бывшего закрытого НИИ. Но без деревянного резонатора внутри секретера игла пошла вразнос, сорвала первые витки нарезки и заклинила. За те восемь секунд, пока инженер держал ладонь на стальном корпусе привода, он услышал обрывок какого-то властного мужского голоса, а следом — страшный, захлёбывающийся женский шёпот о том, как делить сухую пайку хлеба нагретым ножом на семь частей, чтобы не умереть до воскресенья. Инженера увезли от нас с гипертоническим кризом и парезом левой кисти — так ударило по нервам. Да и меня самого, признаться, зацепило через край стола так, что я три ночи не мог закрыть глаза без снотворного.

— И поэтому вы хотели вынуть валики из секретера моими руками, отдать мне на откуп пустую мебель, а записи сначала отфильтровать сами? — спросил Верещагин.

— Именно поэтому! — жёстко ответил Вельяминов, поднимаясь с табурета. — Потому что если на тех валиках, что вы нашли в секретере, записаны протоколы пыток сорок девятого года или предсмертные проклятия людей, которых полковник Блюм отправил на тот свет, и Марк Соломонович услышит это в своём нынешнем состоянии — он умрёт от разрыва сердца прямо за этим столом, не подписав ни одной бумаги, или в припадке раскаяния отпишет всё своё состояние какому-нибудь обществу «Мемориал»! Теперь вам понятна моя арифметика, мастер?

Эта откровенная, циничная правда звучала куда убедительнее вчерашних разговоров о семейной памяти. Перед Верещагиным стоял не раскаявшийся грешник и не опереточный злодей, а хваткий, расчётливый хищник, защищающий свою долю наследства у постели умирающего старика.

— Ваша арифметика мне ясна, Игорь, — медленно проговорил Александр Павлович. — А теперь послушайте мою. В секретере было два валика: седьмой и третий. Седьмой я вчера проверил — там нет полковника Блюма, там голос умирающей от голода старой учительницы Анны Михайловны для её дочери Лиды. Третий валик я проверю сегодня вечером. Но ни вам в руки, ни вашим экспертам я его не отдам.

— Чего же вы хотите? — сузил глаза управляющий.

— Послезавтра в два часа дня вы привезёте Марка Соломоновича сюда, ко мне в мастерскую. Вместе с его врачом. Механизм в секретере я к тому времени вычищу и настрою так,

чтобы игла не рвала дорожку и не била по сосудам. И Марк Соломонович сам решит, какие валики он хочет слышать, а какие нет. Если вы попытаетесь до послезавтра надавить на больницу моей дочери или прислать сюда пожарных — письмо сорок второго года о делах семьи Блюм в тот же час уйдёт в печать и к юристам конкурентов, и тогда вы не увидите ни фонда, ни завещания. Вы меня услышали?

Вельяминов взял с верстака отвергнутый конверт с деньгами, неспешно убрал его во внутренний карман кашемирового пальто и застегнул пуговицу.

— У вас железная хватка, Александр Павлович. Зря вы всю жизнь просидели в подвале со стамеской — в большом бизнесе вы бы далеко пошли. Хорошо. Послезавтра в четырнадцать ноль-ноль я привезу Блюма сюда. Но имейте в виду: если во время вашего сеанса с ним случится удар, отвечать по статье о причинении смерти по неосторожности будете вы и ваша дочь-кардиолог. До послезавтра.

Аня приехала на Малый проспект в начале восьмого вечера — усталая после полутора суток дежурства в приёмном покое, в тёмно-синем шерстяном свитере под промокшим плащом, пропахшая больничным эфиром, крепким кофе и октябрьским ветром.

Пока она мыла руки под краном и грела ладони о чугунный бок печки-голландки, которую Верещагин с вечера жарко натопил берёзовыми чурками, Александр Павлович молча поставил перед ней на чистую салфетку кружку горячего бульона, экран телефона со снимком блокадного письма Анны Михайловны и вынутую из чулана жестянку с двумя валиками.

Аня читала письмо сорок второго года долго, не притрагиваясь к кружке. По мере того как её глаза бежали по выцветшим фиолетовым и карандашным строчкам, с её лица сходила больничная усталость, уступая место суровой, сосредоточенной собранности.

— Господи, какой мрак... — тихо сказала она, откладывая телефон. — «Как хозяин бросает кость борзой собаке»... Бедный Аркадий Соломонович. Спасти тёщу и жену такой ценой, а потом по ночам соструживать с латуни голоса приговорённых и плакать у печки, чтобы в соседней комнате не услышали. И ты говоришь, в ноябре сорок девятого года этот Блюм ещё и забрал у них двухлетнего сына?

— По словам Веры Марковны, мальчик исчез в одну ночь после приезда человека на казённой машине, а через три года она видела Лиду в Таврическом саду с пятилетним сыном полковника Блюма — мальчиком по имени Марк, — кивнул Верещагин. — И нынешнего хозяина «Северного Ковчега» зовут Марк Соломонович Блюм, он сорок седьмого года рождения.

Аня открыла кожаную врачебную сумку, достала механический тонометр с грушей, фонендоскоп и коробку с ампулами.

— Сначала я померю давление тебе, Шерлок Холмс, — тоном, не допускающим пререканий, заявила она, закатывая рукав отцовской фланелевой рубашки. — Сто пятьдесят на девяносто. Терпимо, но на грани. Слушай меня внимательно, пап: я не верю в мистику, но я хорошо знаю нейрофизиологию. То, что ты описал вчера — это прямое низкочастотное раздражение слухового и тройничного нервов через костную проводимость. У людей с возрастным атеросклерозом сосудов такой резонанс легко вызывает резкий ангиоспазм в вертебробазилярном бассейне. Именно поэтому тот инженер Вельяминова получил криз и парез руки.

Она придвинула второй высокий табурет вплотную к отцовскому, оставила манжету тонометра на его левом плече и положила свою узкую, тёплую и сильную ладонь на его левое запястье, прижав подушечки пальцев к лучевой артерии.

— Я держу твой пульс, — сказала она. — Если частота подскочит выше ста десяти или я увижу, что у тебя белеют пальцы и плывёт зрачок — я сдергиваю твою руку с доски секретера немедленно, на середине любого слова. Договорились?

— Договорились, дочка, — мягко ответил Александр Павлович.

Он зажёг восковую свечу в медном шандале, погасил верхнюю лампу над верстаком, чтобы резкий электрический свет не мешал сосредоточиться, и ввёл тёмно-медный валик «№ 3» в шлицы под чернильницей.

Сапфировая игла легла на первую, широкую часть спиральной дорожки до разделительного пояска. Верещагин положил правую ладонь на полированное махагони и чуть нажал большим пальцем на медный ободок.

Внутри корпуса глухо освободился анкерный спуск. Серебряные струны над еловой декой отозвались низким, густым гулом, и в ту же секунду под ладонью побежала знакомая, но куда более тяжёлая и жёсткая, чем вчера, вибрация.

Пламя свечи сплющилось и погасло.

На этот раз Верещагина не ударило морозом — наоборот, вокруг него сомкнулся душный, прокуренный до сизого тумана воздух большой комнаты, пахнущей мокрым хромовым сапогом, папиросами «Казбек», тройным одеколоном и остывшим на клеёнке чаем.

Это был не служебный кабинет в Большом доме — полковник Соломон Блюм был слишком осторожен, чтобы вести такие разговоры под казёнными потолками, где в каждой розетке могли стоять микрофоны его же коллег. Это была та самая угловая комната в квартире на улице Ленина поздней ноябрьской ночью тысяча девятьсот сорок девятого года.

Окна были плотно занавешены тёмными одеялами. У круглого стола, не снимая расстёгнутого кожаного пальто поверх кителя с погонами полковника госбезопасности, сидел грузный, широкоплечий человек лет сорока пяти с тяжёлой нижней челюстью, редкими светлыми волосами, зачёсанными на пробор, и холодными, усталыми глазами навыкате. На краю стола перед ним лежала раскрытая серая папка с подшитыми протоколами.

В углу за ширмой тихо посапывал во сне двухлетний ребёнок. А здесь, у откинутой доски секретера, стояли двое: тридцатичетырёхлетний Аркадий Гринберг в сбившихся набок очках, серый как пепел, и двадцатисемилетняя Лида в накинутом на ночную рубашку платке — совсем не похожая на ту смеющуюся девочку с майской фотографии сорок первого года. Она стояла, вцепившись обеими руками в край детской деревянной кроватки за ширмой, и смотрела на человека за столом сухими, безумными глазами волчицы, к логову которой подошли с ружьём.

А правая рука Аркадия лежала на краю секретера, намертво вдавив медное кольцо чернильницы, где под прикрытием фарфорового стаканчика бесшумно вращался третий валик.

— Вы напрасно смотрите на меня как на душегуба, Лидия Павловна, — негромко, сиплым от табака голосом говорил полковник Блюм, прикуривая новую папиросу от догоревшего окурка. — Я к вам приехал в три часа ночи без шофёра не для того, чтобы пугать. Я приехал спасать свои и ваши головы. Две недели назад в Москве расстреляли Кузнецова и Вознесенского, а вчера бригада следователей Абакумова арестовала начальника нашего четвёртого отдела. Завтра утром они поднимут картотеку спецмастерской. И что они там увидят, Аркадий?

Блюм ткнул дымящейся папиросой в серую папку на столе:

— Они увидят вольнонаёмного еврея Гринберга без партийного билета, через руки которого проходили секретные записи допросов партийной верхушки! Они увидят в его анкете родню, погибшую в минском гетто, и жену, у которой в сорок третьем году в санитарном поезде особисты изъяли дневник с разговорами арестованного хирурга! Чтобы меня самого завтра не поставили к стенке за то, что я держал вас в секретной лаборатории восемь лет, я обязан к девяти утра положить на стол комиссии ордер на ваш арест и ликвидацию точки.

— Так арестуйте меня одного, Соломон Моисеевич! — голос Аркадия сорвался на хриплый, задыхающийся крик, который тут же пришлось зажать кулаком, чтобы не разбудить ребёнка за ширмой. — Я подпишу любые показания, возьму всё на себя, скажу, что Лида ни о чём не знала! Оставьте жену и Маркушу!

— Кому ты будешь заливать про «не знала» в Лефортово, часовщик?! — с тяжёлой, будничной жестокостью оборвал его Блюм. — Жена пойдёт прицепом как ЧСИР в тот же день на восемь лет в Карлаг, а твоего двухлетнего пацана сдадут в спецприёмник МВД под номером вместо фамилии! Ты знаешь, сколько детей ленинградских секретарей мы на прошлой неделе отправили по детдомам за Урал без права переписки?

Лида сделала шаг из-за ширмы, заслоняя собой кроватку:

— Чего вы хотите от нас, Блюм? Говорите прямо, не тяните жилы!

Полковник тяжело посмотрел на неё снизу вверх, стряхнул пепел в блюдце и заговорил тише:

— Вы знаете, что моя Рахиль после контузии в сорок третьем потеряла нашего мальчика и тронулась рассудком от горя. Врачи говорят — если в доме не появится ребёнок, она наложит на себя руки до весны. А меня самого проверяющие из Москвы не тронут только в одном случае: если я докажу, что с семьёй механика Гринберга меня связывает не служебный сговор, а закрытая оперативная комбинация, а сам Гринберг полностью у меня в кулаке.

— Какая комбинация?.. — одними побелевшими губами прошептал Аркадий.

— Сегодня до утра вы оба подпишете бумаги об отказе от родительских прав, а главврач детской больницы на Земледельческой — мой человек — выпишет справку, что ваш сын Марк Аркадьевич Гринберг скончался в изоляторе от молниеносной формы менингита. А завтра же

через закрытый стол ЗАГСа я оформлю усыновление сироты из области на своё имя. Мальчик станет Марком Соломоновичем Блюмом. Эту серую папку я сожгу у себя в камине сегодня ночью. Вы оба останетесь на свободе, здесь, в своей комнате.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.